

Геннадий Малашин

(Не)забытые голоса Сибири

ЭССЕ ПЯТОЕ

«Сибирский литературный материк»*(Поэзия первой половины 1920-х годов)*

...Когда минули и тридцатые с их грандиозными стройками и репрессиями, и «сороковые, роковые» с их великой и страшной войной, и когда неожиданно пришёл март 1953-го, обозначивший рубеж необратимых изменений в жизни Страны Советов, — то наступило и время осмысления того, как же они начинались: советский строй, советские реалии, советский человек...



Помню

Двадцатые годы —
Их телефонные ручки,
Их телеграфные коды,
Проволочные колбочки.

Помню

Недвижные лифты
В неотапливаемых зданьях
И бледноватые шрифты
В огненно-пылких изданиях.

Помню

И эти газеты,
Помню и эти плакаты,
Помню и эти рассветы,
Помню и эти закаты.

Помню

Китайскую стену
И конструктивную сцену,
Мутность прудов Патриарших,
Мудрость товарищей старших...

Так в послесталинском 1954-м один из лучших поэтов Сибири двадцатого века Леонид Мартынов (о нём мы в нашем цикле не раз уже говорили) найдёт убедительные «огненно-пылкие» слова, вспоминая и рисуя для потомков фантазмагорические, переломные, первопрородческие двадцатые, бывшие временем его и многих его друзей поэтической юности и раннего (согласно

не «календарному двадцатому веку», а безудержному ритму двадцатых) социального взросления.

Впереди у самого Мартынова, будущего российского «тихого классика», были: арест, ссылка, внезапная всесоюзная литературная известность и вновь годы вынужденного молчания, когда он, подобно осуждённому им позднее на разгромном писательском собрании Борису Пастернаку, зарабатывал на жизнь переводами, переводами, переводами... Эпоха и судьба ещё милостиво обошлись с этим талантливым сибиряком — в итоге он не только остался жив, но и вернулся во времена «оттепели» к своему не очень массовому, но взыскательному и вдумчивому читателю, он даже успел пустить в плавание часть своих «воздушных фрегатов» — пронзительных очерков-воспоминаний о том, как начиналась литература новой Сибири и России.

И очень точно и поэтически мощно в стихотворении 1954 года были сформулированы почти что по-марксистски увиденная противоречивая диалектика того, ставшего уже очень далёким по количеству событий, заслонивших его, времени и обернувшийся в итоге совсем неожиданной стороной созидательный революционный пафос этого неповторимого исторического отрезка (от разгрома Колчака и бегства Врангеля, от голода в Поволжье — через Кронштадт, и крестьянские антисоветские восстания, и короткую нэповскую передышку, через попытки партийных дискуссий — к жёсткому вертикальному устройству новой власти, к первой пятилетке, к котлованам индустриализации, к победам и перегибам перевернувшей страну коллективизации)...

Одним словом:

...Помню

Фанерные крылья
И богатырские шлемы,
Помню и фильмы, что были
Немы и вовсе не немые.

Помню я

Лестниц скрипучесть
И электричества тленье.
Помню я буйную участь
Нашего поколения.

«Буйная участь нашего поколения» — точнее, наверное, и не сформулируешь предопределённость, уникальность и трагичность судьбы (нет, именно «участи!») Мартынова и его собратьев по поэзии.

Но в самом начале двадцатых, когда ещё только-только отзвенели по всем погибшим в ней скорбные колокола Гражданской войны, когда страна постепенно начала строиться заново, когда в провинции невелико ещё было тлетворное влияние «пролеткультов», когда РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) с её непотным потенциалом ещё не была создана, — тогда, в самом начале двадцатых, стихи писали иногда «в стол», иногда для декламации на кружках и в клубах, а иногда и — публиковали на страницах местных газет (старые журналы были уже поголовно прикрыты, новые ещё только начинались).

В печатавшихся в «Красноярском рабочем» в 1920–1926 годах редких стихах забытой потом на многие годы Нины Аркадиной («чеховский» псевдоним будущего неистового сотрудника Красноярского краеведческого музея, рьяного исследователя-архивиста Анны Фефеловой, возвращённой недавно из многолетнего забвения трудами красноярских исследователей) нас встречает привычная для начала новой советской поэзии в Сибири и похожая то ли на заклинания, то ли на плакаты РОСТА уверенность в новом светлом завтрашнем дне:



Грозой разбиты рабства цепи,
Свобода женщине дана,
Но предрассудков тёмных крепи
Ещё не сбросила она.

...Пора встряхнуть оцепененье!
На новый труд, отрадный труд,
На светлый праздник возрожденья
Тебя товарищи зовут.

Туда, где жизни новой зданье
Растёт, туда иди смелей
На труд великий созданья
Во имя счастья детей.

(Май 1920)

Здесь многое типично для начала поэтических двадцатых: и подчеркнутая, унаследованная от старых предреволюционных десятилетий гражданственная некрасовская интонация, и уже знакомая по предыдущим выпускам нашего проекта образность — очистительная революционная «гроза», разбитые ею вековые «рабства цепи», и, апофеозом, обретенная, казалось бы, и мужчинами, и женщинами, и детьми долгожданная свобода. Новым, пожалуй, стал только подчеркнутый

рефренный созидательный пафос. Вот оно, где-то впереди маячит, призрачное «жизни новой зданье», которое надо начинать возводить всеобщим созидательным трудом (стихотворение Фефеловой так и называется: «К труду»). Этот пафос вскоре получит ёмкое и завершённое воплощение у «лучшего и талантливейшего» поэта именно этой эпохи, «огненно-пылких» двадцатых, — у Маяковского: «*Но шёпот громче голода — он кроет капель снад: «Через четыре года здесь будет город-сад!»*

...Это здесь, у нас в Сибири, о которой поэт и писал, будет совсем скоро город-сад...

Самое начало двадцатых — это, прежде всего, продолжение творчества выживших в годы Гражданской сибирских поэтов дореволюционной формации. Мечтатели и революционеры, большевики, эсеры и недобитые белые, юристы и учителя — к ним во всё применимо определение «дерзающие», данное в одном из ранних стихов также вошедшего в литературу до революции, а потом вплоть до ареста активно участвовавшего в рождении новой литературной действительности поэта Георгия Вяткина (и строчки эти, несмотря на разность талантов, в чём-то перекликаются со строчками Нины Аркадиной):



Враги мертвящей тьмы,
враги унылых буден,
Борцы за вечный свет,
пророки новых дней,
Они приходят в жизнь.
И властвуют над ней
Мгновение одно...
<...>
О, строгие жрецы
тоски и мятежа,
Горящие в огне
божественных страданий
На алтаре стремлений и исканий!
Я верю, будет жизнь,
как в первый день, свежа,
Как в грёзах юности,
свободна и прекрасна.
Кто дерзновенен был —
тот вспыхнул не напрасно...

Участники нашего фильма так говорят об этих дерзновенных витиях: «Прошедшие сквозь горнила революций и войн, они были не столько литераторами, сколько строителями нового мира. Вивиан Итин, Пётр Петров, Иван Ерошин, Виктор Долгушин, многие, многие другие, чьи имена и строки мы можем увидеть в пожелтевших архивных номерах газет и журналов. Они создали время, в котором жили. И это время поглотило их без остатка... Гражданская война закончилась.

Разорваны родственные связи, порушен прежний уклад. Города наводнили беспризорники, обезумевшие люди странствовали по стране...»

Николай Иннокентьевич Демантьев, житель Минусинска, имя которого из полного забвения вернули недавно красноярские составители хрестоматии по сибирской литературе, пишет:

...Грабежи, расстрелы, банды,
Спекуляция и гнёт...
Средь пожаров, разоренья
Ласка женская цветёт

На развалинах строений,
В грязных, гадких поездах,
Среди улиц полутёмных,
В обнищавших городах.

Очень реалистично написал картину того времени этот сибирский стихотворец, о котором нам практически ничего, кроме имени, сейчас, увы, неизвестно.

Но чем горше и непонятнее, чем безнадежнее были реальная жизнь и неприбранный быт, тем возвышенной и истовой грезил «не слившаяся с эпохой», *дерзновенная* часть поколения о другом, о подлинном, о прекрасном, о человеческом мире — и часто находила его в итоге в иллюзиях, в миражах, в сугубо литературных мечтаниях об иных, чистых и светлых, мирах. Очень точно именно в двадцатые годы определил суть поиска этих «иных миров» современник наших поэтов-сибиряков, романтик и мечтатель, «вечный поэт в прозе» Александр Грин («Несбывшееся»): *«Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовёт нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов...»*

...Не сговариваясь, живя вдалеке друг от друга, в разных концах огромной страны, нелюдимый крымский затворник и один его на тот момент сибирский коллега, тоже, по существу, очень одинокий, несмотря на востребованность эпохой, собрат Грина, — не сговариваясь, одновременно, оба запечатлели нежнейшей фееричной акварелью образ этой не существующей на земле страны:



И мир был жесток, как жестокий холод.
И вились дымы-драконы в лазури.
И скалил зубы безжалостный голод.
А я вспоминал о Стране Гонгури.

Здесь не было снов, но тайн было много
И в безднах духа та нега светила —
Любовь бессмертная мира иного,
Что движет солнце и все светила.

Вивиан Итин

Самый яркий (хотя и очень неровный) и глубокий, наверное, из живших в начале двадцатых годов на берегах Енисея (а потом — и на берегах Кана) поэтов. Эти стихотворные строчки он написал для изданной им в Канске в 1922 году прозаической книги. «Страна Гонгури» — так называется страна его «Несбывшегося». Повесть эту считают едва ли не первой в советской России фантастической книгой, почти на год опередившей «Аэлиту» Алексея Толстого.

«В ней можно разобрать футуристические фантазии многих борцов за идеалы коммунизма. В развитых социумах, на нездешних планетах люди парят в воздухе нагими. Прекрасные жители далёких галактик смотрят в особый прибор и видят творящиеся на Земле ужасы, которые принято называть становлением цивилизации. Строки об иных мирах, о другом человечестве рождались ночью — скорее всего, в подвале кинематографа „Фурор“, во времена, когда в Канске, как и по всей стране, господствовала разруха», — так начинается рассказ об этой книге в нашем фильме.

...Каждый рабочий день этого первооткрывателя страны Гонгури был наполнен многими — и зачастую не слишком радостными — трудами и заботами. После того, как «трудовой день» проходил, поэт на несколько часов «утыкался головой в подушку». Надо немного поспать, ведь дальше — наступит лучшее время суток...



И вот, наконец, ночь, пора проснуться.
В комнате дым. На крючок дверь...
Чтоб в клетке мозга опять пригнулось
Сердце — весёлый зверь...

Так он будет вспоминать об этом времени спустя несколько лет.

Мечтая о «Несбывшемся», мечтая забыться и забыть, ещё он порою мечтает вернуться — вернуться в ту, до революции, до войны, прежнюю жизнь...

Стихотворение, так и названное — «Возвращение», начинается с исполнения этой мечты. Вот он, снова там, в этой комнате, заставленной книгами...



Все полки заняты поэтами
(Как мы в них любим каждый звук!),
И стол с любимыми портретами —
Воскресших грёз волшебный круг.

Все, все остались, все нетронуты,
Как будто не было войны...
Нет, я вчера из этой комнаты
Ушёл, а ночью видел сны...

Но невозможно вновь попасть в мир, который навсегда утрачен. Страшные сны обратились явью. И надо приветствовать и воспевать эту явь, несмотря ни на что, как в обращённом к Лидии Сейфулиной стихотворении 1922 года «Наша раса»:



Ничего, что мой томик Шекспира
На сигарки свертели в пути, —
Взбита старая мира перина,
Будет радостней жизнь любить...

Непонятная дышит сила,
К непонятной влечёт судьбе, —
Это бьётся, сжигая, по жилам
Солнце разных зовущих небес.

На плечах светозарная масса,
Лучезарной памяти сад...
Небывалая наша раса
Никогда не вернётся назад!

Вот так — Бог с ними, со «скрученными на сигарки» «Страной Гонгури» и Шекспиром (невольно вспоминаешь и героев Бабеля, и тех же лет светловское: «*Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле...*»). А то, что было и явью, и счастьем ещё несколько лет назад, — теперь только недостижимый прерывистый сон...



О, если бы не ряд потерянных
Друзей, встающий предо мной,
И длинный перечень расстрелянных,
Я б мог поверить в мир иной!

И всё же... Смириться с этими утратами — и Шекспира, и прежнего мира, и «друзей потерянных» — для поэта невозможно. Даже после приёма его в новую, призванную из недр человечества революцией «расу». И вопреки реальности, вопреки тому, что говорит поэту его холодный разум, — сердце его всё ещё полно стучом этого оставленного в прошлом «пепла Клааса»:



Ведь где-то есть ещё поэзия,
Есть бесконечная весна.
И голубая Полинезия,
И голубая тишина.

Там никогда не слышно выстрелов,
Там небо нежное, как лён.
И вместо страшных клеток выстроен
Дворец из пальмовых колонн...

Забывтые и утраченные страницы литературной биографии Вивиана Итина, как и память о Владимире Зазубрине, в семидесятых, восьмидесятых и девяностых восстанавливала в Красноярском крае директор Канского краеведческого музея Галина Усольцева. Она не была первой: в первой половине восьмидесятых уже вновь вышли «Страна Гонгури» («Открытие Ризля») и несколько других прозаических произведений Итина. Но в 1994-м в Канске Галиной Ивановной Усольцевой была издана небольшая, но «томов премногих тяжелей» книжечка. В неё вошли повесть «Страна Гонгури» — впервые был переиздан именно «канский», 1922 года, любимый автором вариант текста повести (до этого публиковался более поздний вариант книги), — и наконец-то, едва ли не впервые, опубликована подборка итинских стихов (до этого — фрагменты стихов из сборника «Солнце сердца» можно было прочитать, например, в критических трудах В. Трушкина, всю свою творческую жизнь посвятившего восстановлению «белых страниц» истории сибирской литературы). И вот — в Канске выходит подборка известных и неизвестных стихов сибирского поэта. Тексты стихов с радостью предоставила Усольцевой дочь поэта, Лариса Итина...

Это был нелёгкий и мучительный труд — возвращение поэта.

Несколько десятилетий поэтические образы, оставленные Итиным на бумаге, были в полном забвении, как и само его имя. В пятидесятых-шестидесятых, очень медленно, началось это его возвращение к не знавшим его читателям. Леонид Мартынов, когда разошлась, разгулялась на советской улице «оттепель», призывал в 1963 году в сборнике «День поэзии» своих собратьев: «Час воскрешения Вивиана Итина, этого жестоко и бессмысленно погубленного в годы массовых репрессий поэта, настал. Пора по-настоящему воздать должное этому большому художнику слова. Вивиан Итин прежде всего поэт, и даже вся его проза — это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблеводства в полярных морях. Полёт поэта кончился трагически. Но осталась не горка праха, а книги. И всё это полно страсти, полно мысли».

И сам воскрешал его образ в своих стихах:



У меня был друг Вивиан.
Он мечтою был обуян
Сделать этот мир
Восхитительным.
Я дружил в Вивианом Итиным...

Конечно же, теперь, ко времени выхода нашего цикла «(Не)забытые голоса Сибири», уже многое

из итинского наследия переиздано, раскрыты неведомые раньше страницы его биографии, вышла даже (правда, крохотным тиражом) интереснейшая биографическая книга Владимира Яранцева «Гражданин Страны Гонгури».

...А о не очень долгой своей, но бурной жизни в Приенисейской Сибири сам Вивиан Азарьевич Итин — заброшенный сюда в начале двадцатых ветрами Гражданской бывший петербургский юрист и денди — сказал ясно и страшно: «В 1920 году я был „вридазвгуботюстом“ в Красноярске. Это был первый оседлый год, считая с октября 1917 г. Я подписывал смертные приговоры в коллегии губчека и выручал спешно приговорённых к смерти, председательствовал в „Реквизиционной комиссии“ и вводил революционную законность, раздавал церковное вино — губздраву, колокола — губсовнархозу и руководил „Комиссией по охране памятников искусства и старины“, работавшей в связи с отделением церкви от государства».

Об этом времени и о цене, заплаченной за возможность реализовать себя в новой жизни, он так говорит в стихотворении, названном просто и тревожно: «В трибунале». Тогда, в начале двадцатых, ещё можно было *так* думать и *так* писать и ещё можно было даже печатать эти свои (вспомним его учителя и наставника) «*несвоевременные мысли*»:



Душа... Но есть двойные души...
Кто сможет обвинять, когда
Всё напряжённее и глуше
Трепещет светлая мечта?

Быть может, я был грозным зверем,
Когда родился среди волков.
Я сознаюсь, не лицемеря, —
Я только луч во мраке снов.

Убийцы могут быть святыми,
Как звери, жаждущие жить...
И что-то плачет вместе с ними —
Кого я требовал убить.

В 1920 году в Красноярске Итин вступил в партию большевиков и был назначен заведовать губернским отделом юстиции, стал членом революционного трибунала. О его недавней работе в 1918–1919 годах, до перехода в ряды Красной армии, в американском «Союзе христианской молодёжи» (УМСА) и миссии Красного Креста новые товарищи по партии на время вроде бы забыли. Он был партийным лектором, агитатором, а ещё успевал работать в СМИ. В главной губернской газете «Красноярский рабочий» Итин редактировал «Бюллетень распоряжений», регулярно писал о широко развернувшейся в то время

борьбе с религией, а ещё руководил появившейся новой рубрикой «Цветы в тайге», ставшей «литературным уголком» газеты.

Выпестованная Итиным поэтическая рубрика в «Красноярском рабочем» позволила начать публиковать свои стихи новым, самодеятельным сибирским поэтам. Пройдёт всего несколько лет — и пришедшее «от станка» и «от сохи» в поэзию поколение начнёт безжалостно теснить и выдавливать дореволюционную «контру». А пока — пока Итин редакторствует. Редактором Вивиан Азарьевич был безжалостным, из-за чего в рубрике зачастую публиковались стихи одних и тех же авторов, включая самого Итина.

Одним из произведений, посвящённых осмыслению недавних событий, стало стихотворение «Наступление», впервые опубликованное в газете «Красноярский рабочий» в октябре 1920 года. В нём создан образ целеустремлённого, на первый взгляд (но — всё же порой сомневающегося, и при этом — искренне пытающегося обрести и воплотить на обломках «древних мифов» некий новый миф), созидателя «нового дня», несущегося вместе с товарищами на коне по разбитым дорогам Гражданской — вперёд, несмотря на то, что «душа страны объята мёртвой тьмой». А Гражданская война на окраинах России ещё продолжалась, и на страницах газетного номера, буквально рядом со стихами, публиковались сводки с фронтов.



В цепи стрелков, в степи оледенелой
Мы целились меж ненавистных глаз;
И смерть весь день так сладко близко пела,
Что колдовала и манила нас.

Потом, заснув в татарской деревушке,
В ночную тьму, как волки, вышли вновь,
Нас привлекали вражеские пушки
И сок волшебный — человечья кровь.

Враги ушли, и мы за ними гнались,
Ночь и мороз объяли кругозор.
В безбрежном снеге люди утопали,
И странно загорался чёрный взор.

Нам попадались трупы отступавших,
И, кто был жаден, раздевали их:
И в смерти жил, светясь на лицах павших,
Чудесный сон видений голубых.

То был покой бессмертный и огромный,
Манивший рядом лечь у колеи, —
Но в нас гудел какой-то пламень тёмный
И мы, изнемогая, шли и шли.

В душе цвело неясное безумье,
Воспоминанья брошенных невест,
А над землёй сияло пятилунье —
Таинственный небесный крест.

Мы шли вперёд, и, словно камни рифов,
Встречались избы тихих деревень:
Мы воскрешали время древних мифов,
И на штгыках рождался новый день!

Наш новый день — начало испытаньям;
И снова в цепь рассыпались стрелки,
Стараясь отогреть своим дыханьем
Замёрзшие ружейные курки.

И снова грохот легендарной битвы,
И доблести высокий, гордый лёт:
О, кто поймёт, проклятья иль молитвы
Бормочет, задыхаясь, пулемёт!

Как Данте, я спускаюсь к центру Ада.
Душа страны объята мёртвой тьмой,
Безжалостное сердце радо!
Безжалостное сердце — спутник мой.

Это одно из самых сложных, сильных и честных, на наш взгляд, стихотворений о Гражданской войне в Сибири. В нём присутствуют многие темы и образы, которые станут ключевыми для творчества Итина, в том числе — раздвоенность сознания воинственного строителя «нового мира» и уже случившееся в русской классике однажды столкновение крови, грязи, страданий, бытовой неустроенности и — высокого «неба Аустерлица»: *«А над землёй сияло пятилунье — таинственный небесный крест»*. (Невольно вспоминаются написанные чуть позже, но в те же двадцатые, бессмертные строчки Михаила Светлова: *«Полночь пулями стучала, смерть в полуночи брела, пуля в лоб ему попала, пуля в грудь мою вошла. Ночь звенела стрелами, волочились поводья, и Меркурий плыл над нами — иностранная звезда...»*)

И, сродни небесным знакам и знаменьям, пребывая в одном ряду со смутными, бессильно и упрямо напоминающими человеку о вечном ликами природы, — появляется заставляющий вспомнить будущие страницы «Страны Гонгури» «чудесный сон видений голубых», который здесь живёт только «в смерти... светясь на лицах павших».

И, конечно, не могут не пронзить болью читательское сердце неожиданные, казалось бы, но такие точные предфинальные строчки: *«И снова грохот легендарной битвы, и доблести высокий, гордый лёт: о, кто поймёт, проклятья иль молитвы бормочет, задыхаясь, пулемёт!»*

В конце 1920-го Итина «по партийной линии» переводят («перебрасывают») на работу в Канск,

где он проживёт («прослужит») следующие полтора-два года своей жизни. В часто цитируемых в рассказе об этом периоде биографии Итина стихах он так иронически (и с не сразу ощущаемой читателем глубокой горечью) описывал это время:



Я живу в кинотеатре
С пышным именем «Фурор»,
Сплю, накрывшись старой картой
С дыркой у Кавказских гор.

О Кавказ! — В былые годы
Благодатный этот край
Был синонимом свободы,
Как земной счастливый рай.

Здесь поэзия России,
Как былинный исполин,
Крепла, набирая силы,
Вырастала до вершин.

...Посреди сибирской ночи
Я стихов слагаю нить...
За корявый стиль и почерк
Меня можно обвинить.

Я от горя не раскисну:
Стих мой из-под топора,
Ведь от музыки от российской
Мне досталась лишь дыра.

А если говорить об этом времени серьёзно, без иронии, то так, наверное:



... В безмерные буйные бури
Мы бродим и бредим с тобой,
Что грёзы о светлой Гонгури
Витают над тёмной землёй.

... Расстались с прошлым без возврата мы.
Я полюбил, как зверь, снега, —
Сибирь, где башнями косматыми
Качает чёрная тайга.

... Я был искателем чудес
Невероятных и прекрасных,
Но этот мир теперь исчез,
И я ушёл в дремучий лес,
В снега и вьюг, и зим ужасных.

Пред мной колышется дуга,
И мысли тонут в громком кличе,
Поют морозные снега,
И в беспредельном безразличье
Молчит столетняя тайга.

Но кто бы знал, какими снами
Я наполняю зимовьё,
Когда варначьими тропами,
Как души чёрными ночами,
Людское рыскает зверьё!..

«Людское рыскает зверьё»... В обращённых к главной любви его жизни, к Ларисе Рейснер, строчках стихотворения «Солнце сердца» (давшего название первому его и единственному прижизненному поэтическому сборнику 1923 года) он, пожалуй, правдив и искренен, и даже, может быть, так: он в этих стихах — исповедален...

И сколько скрытой и пожизненно теперь уже остающейся с ним «боли» в этих вот строчках стихотворения:

...И не понять не знавшим нашей боли,
Что значит мысль, возникшая на миг:
— Ведь это я стою с винтовкой в поле,
Ведь это мой средь вьюги бьётся крик!..

«... Он как будто жил двумя жизнями», — говорим мы в нашем фильме. Первая — она там, в стране Гонгури (и — в навсегда утраченном минувшем, в том прошлом, где извозчик ночью вёз его вместе с Ларисой Рейснер, где били петергофские фонтаны и неспешно несла свои вечные воды Нева). А уничтожение контрреволюционных элементов, изъятие церковных ценностей, подписываемые им приговоры, постановления и мандаты, редактирование на досуге виршей будущих сибирских демьянов бедных и александров жаровых, — всё это есть необходимость жизни второй, реальной. Неизбежная необходимость — ради великой цели, ради «новой зари человечества». И — ради возможности выжить, в конце концов.

И ради этого поэт учится «побеждать себя» в борьбе с самим собой «в главном штабе разума, когда с тёмной кровью мысли бьются»...



Террор ясен, и убить так просто.
В наших душах нам нужней чека —
Пулей маузера, в подвалах мозга,
Привоздить ревущие века.

Жаждой радости и дрожью гóрья
Беззаветно полня чрево бытия,
Нужно пальцы чувствовать — на горле
Своего второго я.

Эти строки стихотворения «Я люблю борьбу...» Вивиан Итин посвятит своему другу и коллеге, автору несколько десятилетий существовавшей только в рукописи «повести о чека»

«Щепка» — Владимиру Зазубрину. «Поэтам и писателям в это странное время довелось владеть не только над человеческими душами, но и над их судьбами».

Они, эти стихи, будут опубликованы в пятом номере журнала «Сибирские огни» 1922 года в Новониколаевске, куда Итин переберётся вскоре одновременно со многими сибирскими поэтами и писателями. Но «второе Я» Итина-поэта то и дело вступает в горький спор с Итиным — бывшим юристом-большевиком и будущим литературным деятелем:



Во мне горят огромные мечты,
Кристаллы грёз огромной красоты,
Они, как сон, в моей душе замкнуты,
Они живут в тягчайшие минуты.

Но для кого возможны эти сны
В немых снегах чудовищной страны,
Где вечно гибнет воля к воплощенью
И мысль покрыта тусклой страшной тенью?..

«Бесцельность» — так Итин назвал это своё стихотворение... Горькое и знаковое название.

...Но шло время. Новониколаевск переименовуют (как считается — по предложению Итина) в Новосибирск. На долгие годы этот город станет не только крупнейшим центром региона, но и «главным очагом литературной жизни сибиряков». Вивиан Итин — с первых номеров активный участник и сотрудник выходящего с марта 1922 года самого знаменитого литературного журнала Сибири. А Владимир Зазубрин несколько лет, пока не вытеснит его со всех постов и из всех печатных изданий новосибирские рапповцы, будет ответственным секретарём, а позднее и редактором «Сибирских огней».

Первые годы существования журнала были временем свободных, без оглядки на цензуру, публикаций самых разных авторов и жанров. В завершавших второй выпуск журнала кратких заметках «От редакции» декларировалось: «В литературном отделе найдёт себе место всё, что художественно воспроизводит эпоху социальной революции и её своеобразное отражение в Сибири, что созвучно этой эпохе...» ...И — слово, свободно напечатанное в первые годы существования журнала, позже погубит многих его авторов. Чего стоила, например, одна только статья Вивиана Итина о недавно расстрелянном новой властью Николае Гумилёве!..

Но всё больше и чаще предоставляли «Сибирские огни» свои страницы для «племени младого, незнакомого», для поэзии «пролетарской» и «крестьянской», тесня при этом исчезающих из журнала «попутчиков». В редакции журнала, бывшего

единственным таким центром литературной жизни Сибири, возникнет вскоре новая, одобренная партией власть инициатива. Во исполнение резолюции ЦК ВКП (б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», необходимо было объединить на платформе этой резолюции всех — и дореволюционных, и пришедших в литературу «из народа» авторов. Вместе с делегатами из Барнаула, Бийска, Кемерово, Кузнецка, Томска, Ачинска, Красноярска, Омска Зазубрин и Итин станут в марте 1926 года участниками I съезда сибирских писателей, войдут в состав правления созданного на съезде Союза сибирских писателей

Наступали новые времена, революционная романтика и радость свободы неумолимо сменялись рабочими буднями с их трудовыми подвигами и их совсем не революционным бытом, от поэзии далёким (вспомним только неосторожно напечатанное Зазубриным «клеветническое» «Общежитие»)...

«Наш автор отстал от хода экономического развития общества, не сросся с рабочей средой и не живёт передовыми идеями её... Кто этого не понимает и оберегает ревностно свои песни... тот порывает с пролетариатом и незаметно для себя скатывается в объятия богемы», — такую зловещую отповедь дадут в редакции «Сибирских огней» в 1930 году неосторожному начинающему автору.

И многое в этих наступающих непоэтических временах предчувствовали и предвещали поэты.

Не случайно одно из таких пророческих стихотворений совсем ещё молодого тогда Леонида Мартынова было, согласно рассказу В. Итина, в последний момент каким-то «осторожным человеком» удалено из части экземпляров уже сверстанного номера 1922 года:



Провинциальный бульвар. Извозчики балагурят.
Люди проходят, восстав от сна.
Так и бывает: проходят бури,
И наступает тишина.

Что из того, что так недавно
Стыли на стенах кровь и мозг!
Ведь толстые люди движутся плавно
Через бульвар, где истлел киоск.

Что из того, что разрушенных зданий
Ясные бреши — на восток! —
Кончились, кончились дни восстаний,
Кончились, кончились дни тревог!

И только один, о небывалом
Крича, в истрёпанных башмаках,
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках.

«Наша советская литература — куски быта, листы записных книжек, более или менее удачные попытки отразить революцию, Россию в революции. Но мощных широких обобщений нет. Адекватного эпохе ничего не создано», — так с набатной тревогой докладывал, обращаясь к участникам сибирского писательского съезда в марте 1926 года, В. Зазубрин.

Всего через два года он сам падёт жертвой партийного обвинения «в серьёзных идеологических ошибках журнала», которым руководил в 1926–1927 годах.

Но он ещё успеет на юбилейном заседании по поводу пятилетия «Сибирских огней» в 1927 году бросить в адрес своего собрата такие слова: *«Если одни писатели приходили... другие приезжали, то Итин прилетел. Прилетел не из тайги, а из голубой страны Гонгури... Есть, как видно, люди, работающие по переписи неба и по переписи земли. Итин принадлежит к числу первых... Итин — человек очень культурный. Но его культура, его знания владеют им, а не он ими. Писатель, попадая даже в самые глухие и самобытные уголки Сибири, не в силах отделаться от власти и обаяния чужих слов и чужих образов, от всего того, что узнал он в университетов и в бесчисленном количестве книг, им прочитанных... Итин живёт больше отражённым светом, светом искусства, а не действительности».*

В сущности, очень точный и совпадающий с реальностью вердикт?.. Безусловно. А ещё его можно назвать «убийственно точным» (памятуя о близящейся к ним ко всем, уже начавшейся, собственно, очередной «смене вех», смене в стране идеологических и политических ориентиров)...

«Подлинных поэтов так и не удавалось до конца поставить на службу идеологии. Создавая образы будущего, поэты всё больше уходили в себя. Одни отправлялись покорять Арктику, другие уходили в высокие горы, третьи просто исчезали. Время неумолимо перемалывало идеалы, растворяя в себе не обрётённые Беловодье, страну Несбывшегося и страну Гонгури», — говорит один из участников нашего фильма.

...Незадолго до смерти, в 1944 году, в Омске геолог, учёный и поэт Пётр Людвигович Драверт, после поэтического сборника 1923 года «Сибирь» с головой ушедший в науку и минералогические исследования, напишет строки, которыми и завершится наш рассказ об «огненно-пылких» начальных двадцатых годах сибирской поэзии.

Называется стихотворение «Падающая звезда», и навеяно оно размышлениями об очень далёком от политики и жизни общества природном феномене — о тайне упавшего однажды на землю Енисейской губернии Тунгусского метеорита...

● ● ●
Ты думаешь: в море упала она,
Звезда голубая, — до самого дна
Дошла и зарылась в зыбучий песок,
Из чуждого мира случайный кусок...

Пучины воздушные глубже морских,
И наша звезда не промерила их, —
Угасла в далёкой немой высоте,
Доступной пока только смелой мечте.

Угасла недаром: в бесчисленный круг
Её закатившихся прежде подруг
От Космоса некая часть попадёт,
Включаясь навеки в земной оборот...

Пусть будет недолог твой жизненный путь,
Но можешь и ты лучезарно сверкнуть,
Оставив живущим волнующий след,
Строитель, художник, учёный, поэт!...

ЭССЕ ШЕСТОЕ

«На перевале»

*(Поэзия рубежа двадцатых —
тридцатых годов)*

*«Для веселия планета наша мало оборудована.
Надо вырвать радость у грядущих дней...»*

И ещё:

«Это время — трудноато для пера...»

Пожалуй, этими строчками из «посмертного» стихотворного разговора Владимира Маяковского с ушедшим из жизни Сергеем Есениным (сам Маяковский — в 1926 году ещё жив, ещё не застрелился, ещё пишет, ещё работает в созданном им ЛЕФе, ещё ездит за границу, ещё задумывает свою последнюю предсмертную юбилейную выставку и пишет юбилейную поэму «Хорошо!») можно предварить предстоящий нам в проекте «(Не)забытые голоса Сибири» рассказ о сибирской поэзии конца двадцатых — начала тридцатых годов.

Хрестоматийные строки из обращённого к закончившему жизнь самоубийством «забудлыге-подмастерью» для советской поэзии последующего периода стали программными, обозначив необходимость новых векторов, правил и приоритетов движения литературы, создающейся в рабоче-крестьянской, в советской «стране мечтателей, стране учёных».

И оно действительно было особенно трудным для поэтов, это сложное, противоречивое и очень по-разному до сих пор оцениваемое время.

Страна вставала на новые рельсы, в ней переворачивалось всё, всё было новым, беспрецедентным — и возникающая в ходе индустриализации колоссальная промышленность СССР, и становящаяся большим единым коллективным хозяйством

деревня, жители которой волей-неволей тянулись в города, к «котлованам» великих строек, и наука и культура страны, и идеология и быт граждан Союза, да и сам образ жизни и мыслей нового, зачастую выросшего уже после революции советского человека. «Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское сердце нашей хорошей молодёжи, — так на первом писательском съезде в 1934 году будет призывать Алексей Сурков, — интимно-лирической водой. Не будем стесняться, несмотря на возмущённое бормотание снобов, простой и энергичной поступи походной песни, песни весёлой и пафосной, мужественной и строгой... Будем держать лирический порох сухим!»

Изменялся прямо на глазах, не мог не изменяться и весь ландшафт литературной жизни Сибири. За предстоящие десять-пятнадцать предвоенных лет он станет буквально неузнаваемым, как и сама земля. Исчезнут, как на вызерченной заезжими заморскими картографами карте, многие прежние названия и имена, изменятся векторы движения — впору проверять, не изменились ли на этой карте и привычные доселе страны света, как бы впервые увиденные мальчишками и девчонками, мечтающими лицезреть эту землю с высоты птичьего полёта и из морских глубин, лицезреть вместе с героическими капитанами, покоряющими земные и воздушные моря и океаны...

...В летний вечер кажется земля
Картой, разрисованною пёстро,
Если смотришь с носа корабля,
Огибая дальний новый остров.

...Мне сходить... Уже бросают трап,
Руки протянулись к чемодану.
«Капитан, хоть молод я, но храбр.
Можно, я совсем у вас останусь?»

Молод я, всего шестнадцать лет,
Но быть может... същется работа?»
Капитан смеётся мне в ответ:
«Сбавь, дружок, для верности три года»...

В синем море тает пароход,
В синем море так легко живётся,
Не сейчас, так, может, через год
Всё равно я буду краснофлотцем!...

(Строчки из стихотворения для детей спецкора «Красноярского рабочего», будущего известного советского писателя и драматурга Лии Гераскиной «Буду краснофлотцем» во втором номере «Красноярского альманаха».)

Изменения мира вокруг, изменения и трансформации взрытой котлованами и взрывами земли зафиксировали и имеющие неоднозначный подтекст строчки поэта, как никто из его современников

чувствовавшего красоту не тронутой вмешательством человека природы. Называется-то это стихотворение Ивана Ерошина (о нём речь впереди) очень правильно: «Новостройки» (а в конце стихотворения ещё и подчёркивается эта идеологическая правильность: «Добрые в колхозе новостройки»)...



Посмотрю, глазам своим не верю...

Помнится мне узкая тропинка,
Звери здесь на водопой ходили,
Да весна девической рукою
Ивам, наклонённым над рекою,
Вешала пушистые серёжки.
Пахли ивы тонким ароматом.
А теперь? Теперь совсем другое.
Станция гудит на речке шумной,
Освещая ровным светом хаты.
А пониже — мельница, хозяйка,
В острозубых жерновах проворно,
Так легко перетирает зёрна, —
Добрые в колхозе новостройки.

Менялись и сами писатели и поэты. Менялись, деформировались темы и герои их стихов, настроение, ключевые образы, да и сами жанры. Непростой, сложный, мучительный, зачастую — ломающий человека, до смерти не прекращающийся процесс. Впору уподобить эту неизбежную ломку писательских и поэтических школ той ломке, которую описал гениальный современник, Михаил Шолохов, в своей знаменитой (и противоречивой, как сама жизнь) диалогии о коллективизации в деревне: «Со слезой и с кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли...» Такой уж была она, «планида», такой была «поднятая целина» новоявленного колхозника и вчерашнего единоличника Кондрата Христофоровича Майданникова. О поднятой же целине объявленных отныне «инженерами человеческих душ» лучше всего рассказали они сами, в стихах своих и в прозе...

Вторая половина двадцатых, начало тридцатых стали временем изменений мест проживания сибирских литераторов. Связано это было не только с колоссальными изменениями в окружающем их мире — но и с изменениями в восприятии этим миром их творчества. Переезды, скитания, перебежки и перелёты эти бывали разными — и добровольными, и вынужденными. Порой писателей и поэтов командировали в столицу на учёбу или «на повышение» — как в 1925-м комсомольского поэта, иркутянина Иосифа Уткина, чьи стихи будут вскоре знать наизусть вся страна. А Владимир Зазубрин вынужден был бежать из Новосибирска в 1928-м (сначала на Алтай, а потом — под

крыло Максима Горького в Москву) в результате устроенной ему в Новосибирске партийно-писательской травли, о которой упоминали мы в прошлом выпуске. В 1932-м в административную ссылку был выслан из Омска по делу мифической контрреволюционной так называемой «сибирской писательской бригады» Леонид Мартынов. С рабочими и житейскими переездами из города в город были связаны и биографии заявивших о себе в тридцатые годы молодых поэтов «нового призыва» — Игнатия Рождественского, Казимира Лисовского.

Поезда и аэростаты, самолёты и автомобили, транспортирующие товары и людей, — одна из самых ярких примет времени. (И поэзия — формируется, деформируется, меняется под влиянием этого броуновского движения. Не случайно же Пастернак на писательском съезде 1934 года заметит: «Поэтический язык сам собой рождается в беседе с нашей современностью — современностью людей, сорвавшихся с якорей собственности и свободно реющих, плавающих и носящихся в пространстве биографически мыслимого»).

А в сибирской глубинке к этим средствам передвижения добавлялись ещё и не вышедшие из обихода лошади...

Впору вспомнить здесь того самого поэта, на борьбу с «кулацким влиянием» которого рекрутировались лучшие политические и поэтические силы:



Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озёрных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поездов?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребёнок?

И ещё, из того же «Сорокоуста»:

...О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясёт стальная лихорадка!

(Как славно отчеканит в 1934-м эпитафию этому автору товарищ Николай Иванович Бухарин: «С мужицко-кулацким естеством прошёл по полям революции Сергей Есенин...»!)

Борьба направлений и идей в литературе, как и борьба политическая, шла в те годы не только

в столицах, но и в сибирской глубинке... (Всюду, так или иначе, были они: и правоверные «раппы», и пытающиеся «задрать штаны, бежать за комсомолом» «лефы», и весьма сомнительные, почти кулацкого толку, «перевалы»...)

Но давайте поговорим в нашем очередном фильме не о литературных группировках, а о самих поэтах. Перелетим с вами тоже в глубинку, на юг края. И остановимся на минуту вот у этого здания.

Историческое здание минусинской типографии. В Новониколаевске в 1922 году, как мы помним, была образована редакция нового журнала «Сибирские огни». А в Минусинске в тот год начали печатать газету «Власть труда» — новые газеты и журналы вскоре распространятся по всей Сибири, открыв свои страницы и «старым», и «новым» литераторам (у Минусинска, впрочем, уже был к тому времени солидный опыт издания газет, и дореволюционных, и революционных).

Двадцатые, тридцатые годы в деятельности «Власти труда» были связаны с целой когортой как профессиональных, так и оставшихся по большому счёту самодеятельными авторов-сибиряков. Несколько первых лет техническим редактором газеты (и единственным профессиональным журналистом) был Василий Янчевецкий, советскому читателю через полтора десятилетия ставший известным как видный писатель-историк В. Ян (псевдоним этот впервые и появится именно в минусинской газете). Из публиковавшихся же во «Власти труда» в разные годы поэтов можно выделить два имени: Виктора Долгушина и Ивана Ерошина. Судьбы и маршруты обоих в двадцатых-тридцатых были непредсказуемы и непросты, хотя надо сразу оговориться о разности (не только в величине, но и в направленности) талантов этих наших земляков. Но наступившее время равняло носителей литературных талантов под одну гребёнку одной и той же судьбы...

Уроженец села Таштып Минусинского уезда (ныне — Республика Хакасия) Виктор Арсеньевич Долгушин относился к числу сибирских поэтов-самоучек, «выпестованных», подобно Горькому, жизнью «в людях» — раннее сиротство, батрачество (одно из популярных у минусинцев его произведений так и называлась: «Батрак»). Позднее, размышляя в стихах о своей взрослой непростой жизни, в которой был он («и буяном, и гулякой»), он писал об утраченных корнях:



Потомственный буян я, не для вида.
Мой прадед через буйство
был в бегах,
Под стать ему и бабка Степанида
С мужчинами дралась на кулаках.

И ещё раньше, вспоминая о недавнем горьком детстве:



От обиды сердце ныло
И давило грудь,
И не раз желанье было
Навеки уснуть.
И немало втихомолку
Слёз я проливал,
И частенько о свободе
Сам с собой мечтал...

После батрачества наступило освобождение подростка от его «злой доли» и «кабалы», началось охотничанье в Урянхайской тайге, куда позвал его однажды встреченный добрый человек-охотник. Саяны, дивная красота дикой природы, свободная таёжная жизнь исцелили юношу — именно тогда он и начал писать:

Я вышел из мрака дебрей
Суровой сибирской тайги,
И Музу я там полюбил
Под пение снежной пурги...

Потом — попытки обрести профессию, заняться сапожным ремеслом, а дальше пришёл 1914 год. Участие в двух войнах, Первой мировой и Гражданской, потом — в партизанском движении...

Стихотворные строки Долгушин сочинял так же охотно и без труда, как его земляк, минусинский партизан Тимофей Рагозин, о котором мы говорили в выпуске, посвящённом поэзии времён Гражданской войны. Возможности учиться после окончания начальной школы Виктор ни в отрочестве, ни в молодости так и не получил. Но упорные занятия самообразованием и истовое чтение классиков сделали своё дело.

Стихи своего нового сотрудника (как и других авторов «из народа») минусинская газета охотно печатала, а вскоре он начал издаваться: в Минусинске вышли три его поэтических сборника — вышли, пусть и достаточно условными ввиду нехватки бумаги тиражами (первый из сборников — сто пятьдесят, второй — пять экземпляров). А главное — поэта охотно читала местная молодёжь, его стихи, как говорят исследователи, часто декламировали на школьных и клубных вечерах, заговорили о нём и «Сибирские огни».

Критики отмечали в его стихах очевидное влияние тогдашних любимцев советской власти, пролеткультовских «рабочих поэтов». Революции, социальным переворотам, обличению недостатков провинциальной советской жизни он отдал неизбежную дань в своих стихах. Но подлинный читательский интерес до сих пор вызывают совсем

другие произведения — воспевавшие родную природу, что и позволило современникам говорить о Долгушине как о «певце Саян и сибирской тайги»:



Затерянный в дебрях сибирской природы,
Где мчит Енисей свои быстрые воды,
Шалуниин утёс, одиноко чернея,
Глядится в кипучую глуть Енисея.
Неведомой силой, как узник, прикован,
Стоит он, рассказом волны зачарован,
И шепчутся волны, с утёсом играя,
Холодное тело целуя, лаская,
Пытаясь затеплить в нём огненный пламень,
Но холоден, сух к ним безжизненный камень...

Вряд ли можно говорить здесь о какой-то особой поэтической технике, строчки просты — но очень искренни, они действительно полны любви к не тронутой человеком уникальной природе малой родины и невольно заставляют вспомнить таких разных поэтов, о которых мы вспоминали в прошлых выпусках: не только его современников Георгия Вяткина и Петра Драверта, но и воспевшего мощь и красоту Енисея минусинского «неблагонадёжного чиновника» девятнадцатого века Александра Кузьмина, и юного участника Гражданской войны Фёдора Лыткина, грезившего легендами о красавице Ангаре, убежавшей от своего жестокого отца Байкала...

Какой могла бы стать (но не стала) литературная стезя этого талантливого сибиряка-самородка? Тридцатые годы, отмечали мы уже, для многих стала временем переездов, бегства, скитаний. Не стала, видимо, исключением и судьба уроженца Таштыпа.

Как сообщала литературовед и музейщик Галина Толстова, первой извлёкшая страницы этой судьбы из забвения, в архиве Красноярского литературного музея (в фонде писателя А. В. Кожевникова) хранится стихотворение Долгушина «Поэтам революции» (впервые опубликованное в хрестоматии «Сибирь: коллекция представлений»). Стихотворение это было «в 1931 году написано в городе Туруханске на крышке инструментального ящика в кузнице»...

Эти дошедшие до нас исповедальные и полные горькой иронии в свой адрес строчки, вкпе с подшивками газеты «Власть труда», позволяют попытаться реконструировать страницы дальнейшей биографии Долгушина. В Минусинске в 1925 году, в той самой «исторической» типографии, печатается уже тиражом в тысячу экземпляров тоненький сборник стихов «Саяны» со вступительной статьёй об авторе критика А. Игрышинцева. Несколько раз имя Виктора Долгушина ещё встречается на страницах минусинской газеты (в том числе в 1928 году).

Вероятно, это был во всех отношениях сложный период его жизни. Во всяком случае, «туруханское» стихотворение «Поэтам революции» начинается такими строчками:



Я бушевал.
Я безобразно буйствовал.
Поэты революции!
Пою я вам.
Как мот, я пропивал свой дар
без устали.
И расскандаливал
его по кабакам.

А дальше развивается (будучи изложена ритмом-«лесенкой» Маяковского...) не требующая пояснений тема «Есенин и есенинщина», о которой мы уже говорили в начале этого эссе. Слова эти в те годы были нарицательными (цитированные выше стихи Маяковского — лучший тому пример), и борьба с «есенинщиной» шла и в литературе, и в жизни, и в быту, и в политике...



Махнули все на буйного
поэта:
Есенин спился.
Этот, мол, таковский.
И только в доме Реввоенсовета
Мораль прочёл мне
Юрий Березовский.

«Дом Реввоенсовета» — вероятно, «5-й дом Реввоенсовета» («Дом военных») в Москве. Имя Юрия Березовского («товарища Ю. Ф. Березовского») встречается в номерах газеты первой половины двадцатых годов в связи с работой редакции «Власти труда» — судя по контексту упоминаний, работа с газетой в Минусинске была для него временной, возможно, затем он вернулся (или переехал?) в Москву. Надо полагать, товарищ Березовский попытался держать отеческое шефство над талантливым, но сбивающимся с пути поэтом.



Он говорил:
— Долгушин, где стихи —
твой клад?!
О революции
и о Саянах.
Ты по-есенински
не расскандаль их, брат,
В Москве у нас в пивных
и ресторанах.

Но мозга не коснулись
Юрия слова:
Ему ль было учить врождённого
буяна?
Не стал бы прадед мой,
наверное, тогда
Станичного, на ять, уютжить атамана.

И вновь скандалил я,
в себя глядел небрежно,
Хоть от Москвы до самых до Саян
В потоке революции кипел мятежно
И был тогда
поэт и партизан!..

А дальше — загадочные и простые строчки о том, как поэт-«буян» после своей «мятежной» и скитальческой жизни «от Москвы до самых до Саян» оказался вдруг занесён внезапной, почти «военной» «лавинной бурной» за полярный круг, «в туруханские тундры», в ряды «бойцов», которые вели «сражения» за строительство большого «советского порта». Судя по датировке стихотворения и упоминанию в стихах срока пребывания в этой «трудовой армии» длиной в год, произошло это (вероятно, в той или иной мере вынужденное) переселение в места не столь отдалённые в 1929 или в 1930 году, когда и начиналось сооружение силами заключённых, военных и вольнонаёмных огромного промышленно-портового комплекса в Игарке — да и, собственно, строительство заново самой Игарки.

Об этом знаменитом когда-то, подлинно советском, советско-сибирском городе будут написаны стихи и книги, он вошёл в историю сибирской литературы, сибирской поэзии. А написанные в кузнице на заполярной земле последние из известных нам стихотворных строчек удивительного автора с удивительной (и в чём-то типичной для поэта двадцатого века) судьбой обозначают удивительный же феномен судьбы его поэзии. Начиная с простых и незамысловатых рифм и образов, продолживший творческие искания «пролетарскими» революционными и сатирическими стихами, оставивший нам поэтичнее, тонкие пейзажные зарисовки сибирской природы, он вдруг раскрывается перед нами как действительно вставший в единый трудовой ряд советских поэтов тридцатых годов «боец», вдохновенный строитель нового мира, «синеглазник», который «ритмам учится у молотка», вплетая в стихи свои, и самую жизнь свою «в концерт гудков Союза»:



...Но новая война
в лавинах бурных
По-новому вскипела вдруг.
И вот
В рядах бойцов я,
в туруханских тундрах,
И строю я советский порт.

Вот где, воистину,
чудеснейший курорт
Для алкоголиков
различных категорий,
Где пятилеткою
с упорством бьют рекорд
Под носом полюса,
вблизи полярных взморий.

Рабочий город там
встаёт из мерзлоты,
Рождая новые
и новые усадьбы.
В нём днём с огнём
не сыщешь водки — полбеды!
Есенина в такой
сослать бы!..

Вот минул год, как я,
покинув бражку,
Похмельную отбросив лень,
У наковальни
молотом вразмашку
Дерусь со сталью
каждый день.

К лицу сродни
рабочая мне блуза,
А ритмам
я учусь у молотка.
Не я ль, буян,
в концерт гудков Союза
Вплетал три звуковых
молодых гудка?!

Самобытный поэт успешно прошёл «переводку», «перевоспитание» — процессы, которые (зримо для всей страны) шли на Соловках, строительстве Беломорканала и (преимущественно незримо) во внутренних «творческих лабораториях», в которых прилежно трудились инженеры человеческих душ.

Дальнейшая судьба Виктора Долгушина неизвестна.

Писавшие о нём немногочисленные исследователи предполагают, что она была трагичной.

Но были и другие истории, с другим финалом — хотя и с очень похожими первичными «предлагаемыми обстоятельствами» судеб.

...Об этом поэте и человеке многие его современники и друзья оставили преимущественно добрые, щедрые, как и он сам, ярко рисующие его незаурядную личность строчки. Дадим слово для первого представления Владимиру Зазубрину, в 1927 году в статье «Литературная пушнина» написавшему:

«Этот человек влюблён в слово, как пахарь в зерно. Он ласковой рукой собирает зёрна-слова

для того, чтобы щедро и густо бросить в глубокие и по-земляному тёплые бороздки своих стихов. Летом живёт на Алтае... Зимует в маленьких сибирских городишках около газет. Всё имущество его — несколько книг и смена белья. Но он богаче всех нас, единственный в Сибири свободный зодчий. Столичные журналы печатают его регулярно. Сибирь он любит больше России, хотя сам из „рассейских“, земляк Сергея Есенина. Он курносоват, голубоглаз, ростом не велик, но большелоб. Фамилия его — Ерошин».

Иван Ерошин, друг Итина и Зазубрина, выходит из малоземельной крестьянской среды, как и Долгушин, в отрочестве осиротевший и вынужденно пошедший «в люди», перебиваясь случайным заработком сначала в маленьких, потом в больших городах.

Первые его стихи были опубликованы не где-нибудь, а в «Правде». Как сам Ерошин рассказывал друзьям, шёл «1913 год, когда он, девятнадцатилетний деревенский паренёк, напечатал в „Правде“ два стихотворения, „Поэту“ и „Рабочий“». Большевикскую газету считал своей. Продавал её в трактирах. Носил к Путиловскому заводу. Чтобы избежать полицейского глаза, поверх газеты клал в корзину снадобья от клопов и тараканов».

Об этом факте пытавшиеся защитить его от разгромной советской критики друзья и коллеги порой напоминали современным им «зоилам», как и о том, что Иван Ерошин оказался первым в России поэтом, приветствовавшим Октябрьскую революцию (буквально на следующий день после её свершения!) со страниц газеты «Социал-демократ» стихами:



Бейте зорю, барабаны!
Барабаны, бейте зорю,
Бросьте в мрак ночной
И в кровавые туманы
Голос звучный, голос-море,
Мощный голос свой!
Прочь оковы и насилье!
Волю! Волю красным крыльям!
В пламени войны —
Зорю бейте, барабаны!
Барабаны, бейте зорю!

Это было для Ерошина, как очень точно и мудро заметил однажды его друг-оппонент Вивиан Итин, время его «первой и искренней любви, любви к городу»: «Иван Ерошин — рязанский крестьянин, земляк Сергея Есенина; но современная поэзия — это городская, очень искусная вещь. Ерошин впервые познакомился с мастерством в столичных странноприимных кружках, в студиях Пролеткульта. Ерошин растаял первой

и неожиданной любовью к городу, к революции, потому что ведь никогда бы иначе он, крестьянский парень, не пришёл бы к этому далёкому городскому чуду — скоропечатным машинам. В ясном поле он затосковал о дымном городе».



Поля, поля и лес, но чувства не с деревней,
Ни звука, тишина, кругом царит покой,
Шелка пахучих трав и музыки стих напевный,
Я ваш недолгий гость, я вновь томим тоской.

Что нужно мне, певцу? Фабричные сирены
Не потревожат мой под утро сладкий сон.
О город! Компас бурь, твоей борьбы арена
Зовёт меня к себе, тобою я пленён.

Деревня не моя, мне близки тротуары,
Где кровь лилась труда, гремел орудий гром,
Симфонии борьбы, Октябрьские пожары.
Они зовут меня, горят в душе огнём.

И ты, властитель мой, борьбой веков прощённый,
Ты в битвах весь горишь, как в юном теле страсть.
Опять стремлюсь к тебе, стремлюсь сильнее, влюблённый
В твою разгневанную пасть.

И дальше биография Ерошина разворачивалась вроде бы как у многих других «правильных», «городских» советских поэтов: был добровольцем, «пламенным участником» Гражданской войны, активным сотрудником красноармейских газет. Как и многие его современники, он написал свою обязательную часть рифмованной революционной истории — написал положенное ему о развевающихся кумачовых знамёнах и рвущихся в бой красноармейцах.



О революция! Мой мрамор и гранит.
Резцом владею я. Резец мой верный — слово.
Когда рабы труда рвут яростно оковы,
Громят врагов своих, — я с бурей сердцем слит.

Жить! Жадно жить хочу! — мне юность говорит.
Двадцатый грозный век, век битвы, век суровый,
Свет человечества, — в его величье новом,
Как факел средь ночи, душа моя горит.

Жить! Страстно жить хочу, чтоб видеть час расплаты
И счастье новых дней, что светит нам вдали, —
Тиранов, палачей, поверженных в пыли.
Гремите ж яростней, восстания раскаты!

Преступный чёрный мир бьёт в колокол тревог.
О революция, труби в призывный рог!

Как сказано было классиком, «взвейтесь!» да «развейтесь!»...

Но Сибирь изменила его, она вернула Ивана Ерошина к его истокам.

...Впрочем, кто из его и более искушённых современников не пытался сначала вслушаться в поступь истории, расслышать, разглядеть, кто ж там из провозвестников и созидателей новых миров идёт вроде бы перед разбойными двенадцатью патрульными, идёт «нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз...»?

И разве не написал тогда же один добрый знакомый и, как вскоре будут утверждать и друзья, и недруги Ерошина, его «идейный учитель» подобные же (хоть и более яркие) строки?

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

...С Сергеем Есениным жизнь впервые свела Ерошина вскоре после революции, в дни, когда великий русский поэт окончательно начал входить «в число первых поэтов России». Спустя несколько десятилетий, в 1956 году, когда имя опального Есенина уже можно было произносить после тридцати лет замалчивания, Ерошин напишет о начале их дружбы-знакомства (и отметим, как вновь причудливо переплетутся «предлагаемые обстоятельства») — революция, особняк Саввы Морозова, Пролеткульт...: «В 1918 г. месяца полтора я жил с ним в одной комнате. Это было в Москве, в здании Пролеткульта на Остроженке, в особняке фабриканта Саввы Морозова. По характеру он был очень добрый и обходительный... В то время он входил в славу...»

Но главное, что навсегда связало двух этих крестьянских поэтов, родившихся с разницей в один год в российской глубинке, на Рязанщине, — это глубоко русское, идейное, эмоциональное, нравственное начало их творчества. Есенин или Ерошин (а может быть — Клюев?), кто из них написал (как выдохнул будто на одном дыхании) эти вот строчки?



Какие связывают нити
С тобой меня, о край родной?
Туманом, песнями повитый
Под этой шапкой голубой.

Поют поля твои и хаты,
Озёра, рощи и луга,
Румянокудрые закаты
И лебединые снега.

Кто пробудил любовь такую
К тебе в душе, отцовский кров?
Твоими песнями тоскую
В ночном под ржанье табунов.

Кто отворил мне эти двери,
Зари ворота распахнул, —
Читать язык и мысли зверя
И вещей песенный отгул?

Внимать в ночи созвучьям тайным,
В лесу искать по звёздам след,
Для песен брать простор бескрайный
И изыной певучий свет...

Эти стихи Ивана Ерошина были впервые опубликованы во втором номере «Сибирских огней», вышедшем в 1922 году.

С 1920 года, с окончания Гражданской, начался долгий (в два с лишним десятилетия) и на удивление плодотворный «сибирский» период его творчества. Сначала он репортёрствует в Омске, потом — Новониколаевск, где он становится постоянным участником «Сибирских огней» и где начались изменившие его судьбу и поэзию поездки и пешие переходы по девственному, ещё неизвестному широкому читателю Алтаю, с первозданной его красотой и с душевной красотой живущего там ойротского народа, изучению и постижению фольклора, быта, культуры которого Ерошин посвятит не один год своей жизни...

В эти годы он влюбился в Сибирь.

А постижение им заповедных, неведомых до него уголков Сибири и живших там искони народов не только помогало разнообразить стилевые, содержательные и формальные характеристики новых стихов, но и создавать подлинные шедевры сибирской лирики. Такие, как потрясшая Романа Роллана знаменитая ерошинская миниатюра «Череп»:



Еду с песней по долине,
Белый череп скалит зубы.
В черепе пророс цветок,
В чёрную прошёл глазницу,
Алым пламенем поднялся
На зелёном тонком стебле...

Силу таланта Ивана Ерошина признавали и его соотечественники, сначала даже в суровых критических обзорах отмечавшие, что «в нём видели настоящего большого поэта. У него можно поучиться вкусу и весу слова. Стих у него как яблоко Алма-Аты».

● ● ●
Румяное — кусаю жадно
Полбока сразу — полный рот.
И духу и глазам отраднo —
Так солнечен, так сочен плод.
Росой на щёки струйки сока,
Приятен грубый, ровный хруп.

«... Сибирь во много раз лучше подмосковных губерний; пусть она дика и несуразна, но она имеет первобытную силу и красоту, человек здесь свежее и крепче, а там хилый — напудренный. Так чувствую, так воспринимаю я Сибирь и очень люблю её. Здесь приволье и буйство...» — так вот начиналась эта вторая, главная любовь его жизни.

Понять силу этой любви помогают строчки стихов. Вот самое первое его, программное, на наш взгляд, стихотворение, напечатанное в самом первом выпуске «Сибирских огней»:

● ● ●
Тебе одной любовь моя —
Твоим полям, притихшим хагам!
Твой новый лик увидел я
Над этим вихорем крылатым.

Для сердца чуткого милей
Просёлков грязные дороги,
Чем бритые ряды аллей,
Дома архитектуры строгой.

Есть вечность у простой избы
С её приветливую печью.
Там знаки тайные судьбы
Сплетись с живой мужицкой речью.

Собственно, в этих строчках — и предчувствие дальнейшей его поэтической и человеческой судьбы, в которой «... *знаки тайные судьбы сплелись с живой мужицкой речью*», и объяснение причин ставшего необходимым ближе к концу двадцатых годов бегства Ерошина из становящегося «неуютным» для него (и для его собратьев по перу) Новосибирска в «сибирскую глухомань».

Постижение им Сибири, ставшей для него продолжением возникшей в детстве преданной любви к «домотканой, избяной Руси», было глубоким и меняющим его стиль, образную систему его стихов. Оно не совпадало с главным, «индустриально-колхозным» вектором передовой советской поэзии наступившей на дворе эпохи, оно больше было связано с вековым, исконным «привольем и буйством» исторической Сибири:

● ● ●
Кто поймёт этот крик в просторе,
Где звериную прячу тоску?
Песнь со словом «убийцы и воры», —
Гнев и муки кому изреку?

И услышат ли крик исступлённый:
Невозможное, нет, не могу! —
Те сердца, ядом змей напоённые,
На зловещем, другом берегу.

Эх вы, песни, бродячие лоси,
Породила вас темень-тайга.
Не поёте весёлых покосов,
А сибирские суровь-снега.

Убаюкайте, лапы кедровые,
Схорони их, медведица-ель.
Плещут по ветру космы багровые,
И свинцовая свищет метель.

О Сибирь, сторонушка кандальная!
То не твой ли сын
Запевает снова песнь опальную
Средь твоих равнин?

По дорогам спутники-могилы
И ночные без имён холмы.
Кто в них спит, когда они почили?
Как прочесть на чёрных камнях тьмы?

Эти стихи, конечно же, никак не могли улечься «в обойму» передовой советской поэзии, в которой надолго «лучшими и талантливейшими» становились строки главного оппонента Сергея Есенина и всей «есенинщины»:

● ● ●
Здесь
встанут
стройки
стенами.

Гудками,
пар,
сипи.

Мы
в сотню солнц
мартенами

воспламеним
Сибирь.

Здесь дом
дадут
хороший нам

и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга.

В 1927 году (переломный, «перевальный» для сибирской литературы год) куратор поэтических (а в тридцатых — и всех) страниц «Сибирских огней» Вивиан Итин в своём «отчётном» разборе поэтического раздела журнала (и, шире, современного состояния сибирской поэзии) в доброжелательном, даже и отчасти как бы дружеском анализе творчества и умонастроений ведущих сибирских поэтов скажет чётко и ясно, как поставит диагноз. Или — как обоснует последующий вердикт:

«Путь Ерошина необычен, идёт по кривой, дыбом, головой вниз...»

«Ерошин ощутил к городу большую и неблагоприятную ненависть...»

«Единственно, что принял Ерошин из всего городского, прошлого, это тот же... „мир таинственный, мир мой древний“ (Есенин)...»

«Мирозерцание Ерошина, в сущности, становится религиозным. Он знал, на что обрекает его вывернутая смена вех, он бросал вызов...»

«Ерошин вносил в „Сибирские огни“ много противоречившего задачам журнала. За это подверглись нападкам, скорее, „Сибирские огни“, чем Ерошин...»

И наконец: «Сейчас Ерошин давно не печатается. Это хороший признак... Он пытается перейти на прозу, на эпос... Всё это — много значит. Я думаю, он поймёт, что, на самом деле, комнатные цветы — воняют, как пудра, а от мазута веет бодрый запах...»

Спустя годы Леонид Мартынов в своих «Воздушных фрегатах», вспоминая своих новониколаевских «учителей слова», которые все были «хорошими, интересными, талантливыми людьми», благодарно вспомнит и своё общение «с Ваней Ерошиным, похожим на... Сократа и на Верлена зараз»... И потом обронит ещё с уважением об этой самой ерошинской «есенинщине» (время, повторимся, наступило в пятидесятых-шестидесятых уже совсем другое...): Ерошин — «достойный рязанский земляк Есенина», «младший брат Есенина»...

Собственно, и Итин ведь не отрицал этого, для него-то — предосудительного, кровного с Есениным и с «деревянной Русью» родства, говоря: «Сибирь привлекла Ерошина тем, что во всей крестьянской Руси самая крестьянская — это Сибирь. А в Сибири — Алтай. Ерошин жил там годами, выбирая глухие, кержачьи, непроезжие доли, где нет не только городов, нет ни одной машины... Ерошину казалось чем-то вроде святотатства, что туда, где ещё нет мельницы, врывается такая хитрая заводская штука — аэроплан. Ерошин заявил, что он на аэроплане не полетит. Нет, он пойдёт пешком, просёлком»...

...Диагнозы и вердикты время и люди в нём на рубеже двадцатых — тридцатых формулировали

бескомпромиссно и жёстко, безапелляционно. Наверное, тогда мнилось им, что и — навсегда. Диагнозы — «есенинщина», «упадничество» — надолго останутся с поэтом.

Они ещё были сравнительно мягкими, эти обвинения. В 1929-м «Сибирская советская энциклопедия» в небольшой заметке о Ерошине и его «крестьянских настроениях» сформулирует то же гораздо жёстче: «В последнее время в своих стихах Ерошин отошёл от советской действительности». От этой формулировки — уже рукой подать до соответствующих «оргвыводов».

Пешком — не пешком, просёлком — не просёлком, но в том же 1929 году Ерошин покидает ставший для него токсичным Новосибирск.

И вот найденным им после алтайских просторов прибежищем, новым глухим «кержачьим долом», конечным пунктом его скитаний становится юг бывшей Енисейской губернии. Новый его адрес — село Иудино, Аскизский район, Хакасская область (ныне — село Бондарево).

Вряд ли выбор этого нового, на десяток с лишним лет, места жительства гонимого поэта был случайным. Во всяком случае, эта случайность была, в соответствии с марксистским философским учением, «непознанной необходимостью». Именно в этом селе жил и был похоронен когда-то переписывавшийся со Львом Толстым «народный философ» Тимофей Бондарев (Толстой называл его «иудинским философом»). Камни-писанцы с могилы философа Ерошин будет безуспешно разыскивать вместе с переехавшим в конце тридцатых в Иудино ещё одним поэтом — будущим автором знаменитых военных стихов, а тогда — учеником Ерошина Георгием Суворовым.

Дни Ерошина на красноярской земле были до предела заполнены: надо было зарабатывать на жизнь, и ещё надо было находить время для творчества. Ерошин, несмотря на свою замкнутость, сотрудничает с минусинскими, абаканскими, красноярскими газетами и радио, досконально изучает фольклор хакасского народа и, конечно же, продолжает писать стихи. Автор самой глубокой и информативной, пожалуй, публикации об Иване Ерошине, красноярский литературовед, профессор Галина Максимовна Шлёнская несколько лет исследовала этот период. Она имела возможность поработать со многими переданными ей уникальными материалами, общалась с потомками поэта и его современниками. Из сохранившихся нескольких писем поэта к красноярскому библиофилу Ивану Маркеловичу Кузнецову стали известны отдельные подробности тогдашних «жития» и «бытия» Ивана Евдокимовича Ерошина.

«Дожди в нашей местности славные, хлеб хороший, а это значит: будет человек сыт... Работы

по горло, творчество закинул в дальний ящик и вернусь ли к нему скоро — не знаю. Юбилей области отнимает всё. На днях еду писать очерк. Каким окажусь в этой работе, сам не знаю... В Абакане частые дожди, огороды жителей растут, как на опаре. Это радостно. Значит, жить будем».

И ещё — о работе над поэмой «Хаттых Темир», которая будет напечатана во втором выпуске «Красноярского альманаха» — предшественника альманаха красноярских писателей «Енисей»: «Мне хочется, чтоб она походила на голубую каплю росы на снежном лице цветка. Но как трудна эта работа, она напоминает мне работу китайских мастеров над вазами, над которыми они работают по сто, сто пятьдесят лет из поколения в поколение, т.е. над одной только вазой. Каждый в отдельности художник...»

Г. М. Шлёнская в своей статье, опубликованной в 2009 году в журнале «Сибирские огни» (!), вспоминает и рассказ И. М. Кузнецова в телепередаче на краевом телевидении о Ерошине и его современниках: «Он прекрасно знал персидскую, китайскую, японскую и древнегреческую поэзию. Тогда ещё молодые красноярские поэты Игнатий Рождественский и Казимир Лисовский, написав новые стихи, не без страха несли их на суд „древнему греку“. Так шутливо называли они Ерошина за пристрастие к античности».

Среди сделанного Иваном Ерошиным за «иудинский» период его жизни — и уникальный сборник «Хакасский фольклор», свёртанный, но так и не напечатанный (время-то то было совсем суровое и совсем непростое!) в 1938 году. Вёрстка сборника была передана дочерью поэта Г. М. Шлёнской, а копия вёрстки теперь хранится в Литературном музее, частично его материалы опубликованы в недавно вышедшей в Красноярске, составленной Ольгой Ермаковой книге стихов И. Ерошина.



Износилась, посмотрю, рубашка,
Старую рубашку надо бросить,
Новую купить рубашку надо.
Славно новую надеть рубашку!
Старая юрта покосилась,
Юрту новую строить надо...
Жизнь отцов совсем изломалась —
Жизнь хорошую будем строить!

По мнению Галины Шлёнской, творческий путь Ивана Ерошина — это поиски затерянного в Сибири Беловодья, мифической страны, где нет зла и горя. Это живое ощущение нездешнего мира в поэте рождает — сибирская природа и добрые, простые люди, радующиеся каждому дню.

Исследование Г. М. Шлёнской завершается пронзительными и точными словами. Своего рода «камнем-писанцем», обозначающим прожитые поэтом в Иудино годы: «Так напряжённо и наполненно в очень непростое время жил и творил на красноярской земле „младший брат Есенина“ Иван Ерошин — человек, знавший цену труда пахаря, взрастившего хлебный колос, и труда поэта, в муках отыскивающего слово, которое „не тлеет“». Художник, понимавший голос ветра и птиц, говоривший на общем языке с рекой, деревом, горной тропой. Гуманист, способный глубоко постичь дух другого народа и его песни сделать для нас песнями нашими. Он на собственном опыте знал, как тернист прямой путь Правды, но никогда не предпочёл ему облегчающую увёртливость и кривизну».

А «Сибирские огни» в далёком 1922 году так сформулировали суть личности и содержание творчества Ивана Ерошина, сказав о нём: «Деревенский Алёша Карамазов, потомок русского иночества...»

...Впереди у Ивана Ерошина и его учеников, подрастающих красноярских авторов из «племени молодого, незнакомого», были создание Красноярского книжного издательства и местного отделения Союза писателей, первым членом которого в Красноярском крае и станет Иван Ерошин. Но *перевал*, на который они в итоге взойдут, ещё не был преодолен. Впереди у них и у всех советских поэтов и писателей были строчки постановления ЦК ВКП (б) 1932 года, констатировавшие, что в стране уже наконец-то «успели вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов». Впереди был первый, учредительный съезд Союза советских писателей. Впереди было время социалистического реализма...



Хорошо молодому да крепкому,
В сердце чувств неумейной галдѣж.
Улыбаясь, помашешь кепкой:
Дескать, солнце, здорово живѣшь!

Чтобы дружбе цвести недаром,
Ты бы, солнце, крепче пекло.
Я поймаю крутым загаром
Огневое твоѣ тепло.

Пью лучей золотистую осыпь.
Ну, попробуй, не пой, удержишь!
Если двадцать счастливых вѣсен,
Составляют веселую жизнь.

И надежд, и возможностей много.
Дышит грудь широко и легко.
В мир прекрасный большая дорога
Перед нами легла широко!